Николай Лесков

Отборное зерно

Николай Семёнович Лесков

Отборное зерно

Серия «Святочные рассказы», книга 5

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175134

Аннотация

«Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен…»

Содержание

Глава первая 9
Глава вторая 26
Глава третья 35

Николай Лесков
Отборное зерно
Краткая трилогия
в просонке

Спящим человеком прииде враг и всея плевелы посреди пшеницы.
Мф. XII, 25

Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других – особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет пред-

сказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»?! И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, – будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.

И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.

Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.

С платформы у одного маленького городка вошли два человека – один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой – грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне

были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.

По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.

Говорил из двух пассажиров один, у которого был

старый подержанный баритон – голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.

Начинал баритон, и речь его была следующая:

– Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и на мой взгляд прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, – вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и *Рассея*, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят… А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не уме-

ет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.

– Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, – заметил фальцет.

Баритон продолжал:

– Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно… Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».

Глава первая
Барин

Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно – это чья-то пшеница в одной витрине.

В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала.

Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.

Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще

по детским воспоминаниям – потому что он сначала в классе всё ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.

Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.

Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.

Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:

– Извините меня, если я не ошибаюсь – вы такой-то?

Я отвечаю:

– Вы не ошиблись, – я действительно тот, кем вы меня назвали.

– А я, – говорит, – такой-то, – и отрекомендовался. Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит

и выставляет самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком – очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».

– Не обозреваю, – говорю, – а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.

А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.

Я ответил, что заметил, уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, – так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, – смежны с полями моего брата.

Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:

– Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да

легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, – сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, – мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.

– Да, – говорю, – все это прекрасно, но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.

– Что же из этого? Навещаю – это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, – рутинер.

– Да, – говорю, – мой брат не рисклив.

– Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, – но в чем мы не виноваты, в том и не вино-

ваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.

Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.

– Изумляюсь, – говорю, – вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!

– А вот читайте, – указывает на надпись на витрине. – Видите: мое имя. И притом, батюшка, здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы – все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне – вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, – вот в чем дело.

Думаю себе: не смею верить, а впрочем – боже, благослови.

– Какая же, – спрашиваю, – такому редкостному зерну цена?

– Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, всё осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам,

разумеется, не продам.

– Отчего?

– Как это – иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, – не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, – я ему продам, и охотно продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, – но пусть истинно русский наживает.

А в это самое время как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.

…Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.

– Видите, как юлят, – сказал он мне по-русски, – а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает.

Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых,

что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.

Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.

Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.

Не принять было неловко – я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.

На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! продал зерно сему благополучному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».

«Ну, – думаю, – вот этого я уже не сделаю», а он точно проник мои мысли и сам подходит.

– Кончил, – говорит, – батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое – всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря – и то продешевил, но по

крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят – злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригинальный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?

– Нет, – говорю, – куда же мне кутить?

– Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются, – мы люди простые и дурачимся все кто как может.

– То-то и горе, – говорю, – что я уже совсем не могу пить.

– Ну, нечего с вами делать, – будь по-вашему – оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие – полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении – «весь урожай обмолоченный и хранимый в ам-

барах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите, нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

– И я, – говорю, – того же самого мнения.

– Да, – отвечает, – я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.

Барин был неподдельно весел, и купец тоже.

Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственницею и, по-видимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.

В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «тремтете».

Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку crème de thé.[1]

При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».

– Настоящей haut école![2]

– Ну, тем вам лучше, – говорю, – а мне в мои лета, – и прочее, и прочее, – словом, отклонил от себя это

---

[1] чайного ликера (*франц.*).

[2] высшей школы (*франц.*)

соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.

Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области haut école или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.

Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:

– Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.

А кузен на меня посмотрел и говорит:

– Как, ты его знаешь?

Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.

– Не поздравляю с этим знакомством.

– А что такое?

Да ведь это отсветнейший лгунище и патентованный негодяй.

– Я, – говорю, – признаться, так и думал. Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братий.

Кузен мой расхохотался.

– Что же тут смешного?

– Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.

– А что?

– Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.

– Нет, – говорю, – я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.

– А это, – говорит, – ничего не значит.

– Однако же?

– Он соврет, наклевещет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь…

– Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.

– Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.

Мне это показалось уже слишком.

– Удивляюсь, – говорю, – как же это все другие на его счет так ошибаются.

– А кто, например?

. – Да ведь вот, – говорю, – он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.

Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.

– А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так: как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с кем попало, без всякого разбора.

– Ну, вот видишь ли, – говорю, – мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля, которого каждый ваш нахал за усы проводить может.

– И вообрази себе, что ведь действительно может.

– Пожалуйста!

– Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, чт? у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братий, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти… Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, – снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славя-

нам братья, и заатлантичникам – друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров и дулебов. Словом, чего хотите, – тем они вам и скинутся. А вы думаете: «Это *земля*! Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.

– Но, однако, по крайней мере – он хороший хозяин.

– Нимало.

– Но он при деньгах – это теперь редкость.

– Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в мошне кое-что стало позвякивать, но нам известно, чт? он там купил и кого продал.

– Ну, в этом случае, – говорю, – я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу.

– Нет у него такой пшеницы.

– Как это – «нет»?

– Нет да и только. Так нет, как и не было.

– Ну, уж это извини – я ее сам видел.

– В витрине?

– Да, в витрине.

– Ну, это не удивительно – это ему наши бабы руками отбирали.

– Полно, – говорю, – пожалуйста: разве это можно руками отбирать?

– Как! руками-то? А разумеется можно. Так – сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно.

– Какие, – говорю, – пустяки!

– Совсем не пустяки. За пустяки такой скаред, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.

– А как же, – спрашиваю, – у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!

– Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.

– Да; но, однако, это значит – голое и очень наглое мошенничество.

– И не забудь – не первое и не последнее.

– Да, но как же… этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями… Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?

– Да, пожалуй, – он начал дело, но только совсем в особой инстанции.

– Где же это?

– У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.

– Да полно, – говорю, – тебе эти крючки загинать да шутовствовать. – Расскажи лучше просто, как следует, – что такое происходит в вашей самодеятельности?

– Изволь, – отвечает приятель, – я тебе расскажу. – Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае… Не знаю, как вам это покажется, но по-моему – оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.

Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдохою-барином, и. как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.

Баритон согласился продолжать и заметил:

– Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в

делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидал бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого – черт возьми – вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив – все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.

– Прелюбопытно!

– Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, – наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, – он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.

– Прелюбопытно, – снова вставил фальцет.

– Ну уж одним словом – слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.

Глава вторая
Купец

Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама haut école, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное, зерно и было продано своему единоверцу.

Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатою и видит, разумеется, что

над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары – все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к законоведам, – те говорят, – ничего не поделаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что запродано.

Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал, выслушал приказчика, посмотрел хлеб и говорит своему молодцу:

– Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммерция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.

А с барином он повел объяснение в другом роде.

Приходит, – помолился на образ и говорит:

– Здравствуй, барин!

А тот отвечает:

– И ты здравствуй!

– А ты, барин, плут, – говорит купец, – ты ведь меня надул как нельзя лучше.

– Что делать, приятель! а вы сами ведь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? – Дело обоюдное.

Так-то оно так, – отвечает купец, – дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.

Барин очень согласен, только говорит:

– Желаю знать: в каких смыслах развязаться?

– А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все деньги отдам и еще, пожалуй, немножко накину.

Дворянин говорит, что он на этих условиях всякое добро очень рад сделать, только говори, мол, мне прямо; что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купец вкратце отвечает:

– Мне немного от тебя нужно, только поступи ты со мною, как поступил благоразумный домоправитель, о котором в евангелии повествуется.

Барин говорит:

– Я всегда после Евангелия в церковь хожу: не знаю, что там читается.

Купец ему довел на память: «Призвав коегожда от должников господина своего глаголаше: колицем должен еси? Приими писание твое и напиши другое. И похвали господь домоправителя неправедного».

Дворянин выслушал и говорит:

– Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у меня купить такой же редкой пшеницы.

– Да, – отвечал купец, – теперь уж надо продолжать, потому что никаким другим манером нам себя соблюсти невозможно. А к тому, нельзя все только о себе думать, – надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.

Барин это о народушке пустил мимо ушей и спрашивает:

– А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

– Да я теперь много куплю… Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.

– Гм! Так, так! Ты верно хочешь ее особенно бережно везти?

– Вот это и есть.

– Ага! понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.

– Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.

– Само собою разумеется. Разве можно в нашем

краю без документа?

– А какая цена? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

– Возьму не дороже, как за мертвые души.

Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.

– Какие такие мертвые души? Что тебе про них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

– В одно слово?

– В одно слово.

– По два рубля за куль.

– Вот те и раз!

– Это недорого.

– Нет, ты по-божьему – получи по полтине за куль.

Дворянин сделал удивленное лицо.

– Как это – по полтине за куль пшеницы-то!

А тот его обрезонивает:

– Ну какая, – говорит, – это пшеница!

– Да уж об этом не будем спорить – такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.

– Это еще как бог даст.

– Да уж тебе-то бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, – бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.

– А ты не завидуй, – зависть грех.

– Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.

– Да, мы припадаем и молимся, – и ты молись: кто молится, тому бог дает хорошо.

– Конечно, так, но вам тоже и есть чем – вы много жертвуете на храмы.

– И это.

– Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.

Купец рассмеялся.

– Ты, – говорит, – плут.

А тот отвечает:

– Да и ты тут.

– Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.

А барин отвечает:

– Хорошо, но еще лучше ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.

Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.

– Ну, – говорит купец, – скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем звании редко подыскать.

А тот, не смутясь, отвечает:

– Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во-вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купец не стал больше торговаться.

– Нечего, видно, с тобою говорить – ты чищеный, – крестись перед образом и по рукам.

Барин согласен молиться, но только деньги вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.

Купец о то самое место деньги и выклал.

– Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, – я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.

Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счеты по-божьему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выстав-

ке был.

«Зерно, – говорит, – отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».

Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.

Купец завязал их в платок и ушел.

Тут фальцет перебил рассказчика словами:

– Вы какие-то страсти говорите.

– Я говорю вам то, что в действительности было.

– Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?

– Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.

– Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?

– Вероятно потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.

– Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгаши сами кого угодно облупят.

– Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится и всему дальнейшему благополучному течению дела усмотрел иной проспект, а на том проспекте предвидел уже для себя полезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело огранить и в рамку вставить. Тот и дал всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бонер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.

– И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?

– Нет, мужик.

– Как мужик?

– Да все дело обделал он – наш простой, наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю – отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?

– Конечно, читал.

– Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?

– Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.

– А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.

Глава третья
Мужик

Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем так, – *Иваном Петровым*. Был этот раб божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.

Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастие, – лоцманкая артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без

надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай – это все равно что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш – это опять одно и то же. Ну нет, брат, – извини!

Наши речные лоцманы – люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые единым богом. Есть какой-то навык и сноровка. Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских иллюзий; но в своем роде лоцманы – очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капитальцы. И все это в простоте и в смирении – бога почитаючи и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.

Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства – чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям *молился* усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угод-

ников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы, свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского письма.

Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, *а всем польза.*

«Он выручал других – должен выручить и меня», рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:

– Ты веди караван, а я вас где надо встречу.

А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а заместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.

Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться. А просто взяться – невозможно: дело затеяно воровское.

К счастию своему, видит купец на бережке, на обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой

старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандрийской рубахи наружу висит.

Понравился старец купцу своим правильным видом. Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:

– Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?

Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный – улыбнулся и отвечает:

– Что это еще за прохаживание! В проходку ходить – это господское, а не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит – дела пытает, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?

Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности – сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытает, а не от дела лытает.

– А к какому месту касающему?

– Касающее этого самого места.

– И в чем оно содержащее?

– Содержащее в том, что я обижен весьма несправедливым человеком.

– Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а всё по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?

– Ищу себе человека помогательного.

– Так; а в какой силе?

– В самой большой силе – грех и обиду отнимающей.

– И-и, брат! Где весь грех омыть. В Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», – всего не омоешь, а разве хоть по малости.

– Ну хоть по малости.

– То-то и есть: господь грех потопом омыл, а он вновь настал.

– Научи меня, дедушка, – где для меня здесь полезный человек?

– А как ему имя от бога дано?

– Имя ему Иоанн.

– «Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн», – проговорил старик, – А как по изотчеству?

– Петрович.

– Ну, сам перед тобою я – Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?

Тот ему рассказал, впрочем только одну первую половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, – про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко оформил ответное слово:

– Товар, значит, страховой?

– Да.

– И подконтрачен?

– Да, подконтрачен.

– Иностранцам?

– Англичанам.

– Ух! Это жохи!

Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:

– Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить – подумавши.

Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород, – сел с ним на банное крылечко и говорит:

– Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств – действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить – это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская причина, которая здесь к тому не позволяет.

Купец стал упрашивать.

– Сделай милость, – говорит, – я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.

– Знаю, да взять нельзя.

– Отчего?

– Очень опасно.

– С коих же пор ты так опаслив стал? Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.

– Однако другим помогал.

– Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.

– А ныне разве мир против тебя стоит?

– Я так думаю.

– А почему?

– Потому что у нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова – вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей – им строиться нужно.

– Не пожалею.

Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему помогательного Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло

так честно и аккуратно, что одно только утешение.

– То есть какое же это утешение? – спросил фальцет.

– А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали против часовенки на бережку, помолебствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.

Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастие» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, бог и взял – буди его святая воля».

Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с просьбами: «теперь нас не обессудь, – это на сиротскую долю бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой пре-

мии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой – закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.

– Как это?

– Очень просто; немцы ведут всё по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами; на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку – все лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще господа, и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорчении. Никто не пострадал!

– Как никто?

– А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, – все только нажились.

– А страховое общество.

– Страховое общество?

– Да.

– Батюшка мой, о чем вы заговорили!

– А что же – разве оно не заплатило?

– Ну, как же можно не заплатить – разумеется, заплатило.

– Так это по-вашему – не гадость, а социабельность?!

– Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему называется «гадость».

– А страховое-то общество – это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?

– Разумеется, нет.

– А что же это такое?

– Немецкая затея.

– Там есть акционеры и русские.

– Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.

– А вы его не хвалите.

– Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостию злоупотреблять начали», – так пусть его и знает, как мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

– Это черт знает что такое!

– А что именно?

– Вот то, что вы мне рассказывали.

Фальцет расхохотался и добавил:

– Нет, я вас решительно не понимаю.

– Представьте, а я вас тоже не понимаю.

– Да если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.

– Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что мы и не плуты и не дураки.

– Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.

– Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе *домой*, – на теплые полати, ко щам, да к бабам… А кстати, вот и наша станция.

Поезд начал убавлять ход, послышался визг тормозов, звонок, – и собеседники вышли.

Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые, и рослые.

Впервые опубликовано – журнал «живописное обозрение», 1884.